18+

Химчо-терра

Андрей Верин

ЛОТТЕ РУС
HOTEL & CONFECTIONERY

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
«ЛИЦЕЙ»
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ПОЭТОВ

Rideró

Андрей Верин

Химио-терра

«Издательские решения»

Верин А.

Химио-терра / А. Верин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-930399-8

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Восток падал с высоты сорока километров. Через прорехи в облаках, летевших на него, проглядывала синева. Когда Восток по временам приоткрывал глаза, ему казалось даже, что различает белые барашки волн. Он знал: даже если парашют раскроется и он живым сойдет на землю, все равно умрет, когда иссякнет кислород в баллоне… — Анатолий Александрович! — услышал за спиной. И не сгоревший дотла после сокрушительно-прекрасного падения сквозь атмосферу Восток оторвался от стекла иллюминатора и обернулся.

ISBN 978-5-44-930399-8

© Верин А.
© Издательские решения

Содержание

10 6
9 7
8 18
7 22
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Химио-терра

Андрей Верин

© Андрей Верин, 2018

ISBN 978-5-4493-0399-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

10

Восток падал с высоты сорока километров. Через прорехи в облаках, летевших на него, проглядывала синева. Когда Восток по временам приоткрывал глаза, слезившиеся солнцем, ему казалось даже, что различает белые барашки волн. Кожу под тканью станционного, не пригодного к перегрузкам скафандра встречный поток исхлестывал до ожога. Но, снявши голову, по волосам не плачут, и Восток, то и дело терявший сознание от боли и беспорядочного вращения, знал: даже если парашют раскроется и он живым сойдет на землю, все равно умрет, когда иссякнет кислород в баллоне…

– Анатолий Александрович! – услышал за спиной.

И не сгоревший дотла после сокрушительно-прекрасного падения сквозь атмосферу Восток оторвался от стекла иллюминатора и обернулся на голос.

9

– Гремин! Ты знал, что рак лечат ракетным топливом?

Ершов имел обыкновение входить без стука, чисто ревизор в немую сцену. Говорить же начинал еще из коридора, из кулис.

Гремин потер мизинцем переносицу (все пальцы в клею): мог ли не знать? Дед был конструктором «Бурана». Кажется, вернее, чем на молоке, Толю вскормили на ракетном топливе. Дверь хлопнула, впуская лучезарного Ершова, эйфоричного. «Явление очередное: те же, там же», – подумал Гремин и парировал:

– Меньше читайте газет. Не рак вообще, отдельные подвиды – десмоид… саркому, лимфогранулематоз… И не ракетным топливом как таковым – сульфатом гидразина.

– Гремин, чертяка, отчего ты чужд художественным преувеличениям? Такая вышла бы аллитерация, почище вознесенской-авторской: «р-рак, как р-ракета, летит по пар-раболе…» – Ершов, смеясь, пал на пустующую койку. Дал себе время отдышаться и кивнул на стол: – Все клеишь?

– М-м.

– Покуда я обхаживал сестер, ты втерся к самому Чуденскому, подумать только. Без мыла влез. Ай да Анатоли'к.

Задиристый под стать фамилии, Ершов именовал приятеля французисто, с упором на последний слог. Захаживал к нему, как сам всюду трубил – что на Анатолийский берег: в торце крыла, где обживался Гремин, солнце било в окна с утра до ночи, даже сквозь занавески жгло – хоть загорай.

– Ну да, – кивнул Ершов, вторя своим соображениям, – иначе как бы ты сюда попал? Ведь ты же не «солист». Чем-то, приятель, ты очаровал вашего расчудесного Чуденского, раз он тебе дал место.

– Меня по квоте взяли, ты же знаешь. – Гремин стушевался: понимал и сам, что на птичьих правах – на панцирной сетке сидел, а почитай, на жердочке: смахнет начальственная длань – хочешь, не хочешь, а спорхнешь.

– Может, научишь и меня, как здесь взять волю? Скажем, мочу сдавать не засветло, а за полдень, а на ночь в самоволку, а?

Гремин насторожился. «Знает? Нет, едва ли. Неоткуда». И усмехнулся – скрыть волнение:

– Куда там. Заведение режимное.

– Вот то-то и оно… Ты глянь вокруг, здесь чисто центр подготовки космонавтов, Гремин. Центрифуги, барокамеры, высокие энергии. Как в Звездном городке.

Когда они впервые встретились, Ершов долго пытал его: «Как ты попал сюда? Как ты прошел отбор? Тебя же, как ни посмотри, взять не должны были». Смотрел на Толика, прищурившись, и Гремину с тех пор казалось, что Ершов со дня на день разоблачит его. А тот все не разоблачал, только дразнил: мол, все-то знаю, да не все скажу.

Гремин вздохнул:

– Песочный звездный городок твой… Замок на песке.

– Да брось. Сюда съезжаются со всей страны. На месяц очередь! Мы выше некуда. Один неверный шаг – свободное падение из сверх – до нелюдей. Плохо одно: без дозволения начальства не вздохнуть. Не жизнь, а вакуум.

Ершов шутил, но кое в чем был прав: не так давно Гремин бродил по здешним коридорам, пустовавшим по ночам, и видел, как фрамуги окон распахнул радиоактивный ветер, в лицо горсть звездной пыли бросил. И за спиной его разверзся, с треском разрывая атмосферу, космос. И зазвучал в ушах словами греческого пантеиста Оригена: «Знай, что ты – иное миро-

здание в миниатюре и что в тебе – солнце, луна и все звезды». И ночь, полная солнц, но все едино черная, пошла за ним неслышной поступью – собственной пропастью, в которую так тянет оступиться. Гремин с того дня боялся оглянуться, чтоб не встретиться случайно взглядом с бездной у себя внутри.

– Алё, Толян, уснул? – Ершов подергал за рукав, и Гремин вздрогнул, возвращаясь, сказал:

– Жизнь, и на том спасибо.

– Э-э, не! Я, братец, не адепт Декарта с его «мыслю – существую, тем и рад», я не готов еще жить овощным гарниром к «утке». Не Богом, так подобием хочу быть. И хорошей чтобы копией, а не китайской.

У Бога сто имен – от Тетраграмматона до Тецкатлипоки.

Что до Евгения Ершова, у того имен было, по меньшей мере, три десятка.

От иностранных вариаций, вроде Джека, Жоржа, Юджина и Джази, до трогательно-деревенских Жони, Жеши, Женюшки, Енюши и Еняхи. Приблудились в списке его прозвищ и сомнительные Геня с Гешей, и даже вовсе неправомерный Гена. Перечень имен Ершова пополнялся непрерывно. Купил, скажем, Женяш, подержанный автомобиль, стал проводить дни-ночи под капотом в гараже, – и окрестили Автогеном. Покончив с карбюратором, стал, например, писать симфонии для ноута с оркестром, и прозвали – Гением, без «Ев».

Выходец из новорусских нуворишей, наружностью Ершов был попородистее многих. И в имени его, пусть ветрено изменчивом, хранилось греческое «эугенес» – «высокорожденный, благородный, знатный». Было в этом парне со смешными прозвищами Жменька, Женьч, Жекося и Жендос что-то архитипическое, от Печорина, Ставрогина и – как тут без него? – тезки-Онегина. И с ранней юности Ершова обожали женщины – свободные, замужние, ровесницы и школьницы, и дамы чуть не вдвое старше, словом – всех статусов, сортов и возрастов. Ершов поклонниц не особо жаловал, за ним протяжным плачем Ярославны оставался след из втоптанной в грязь гордости, расколотых сердец, ломаных судеб, и Женек шагал по ним, точно по битой штукатурке – с чуть брезгливой беззаботностью.

Гремин завидовал Ершову – полнокровному и «прогностически благоприятному», как говорили здесь. Евгеш ходил атлетом – с по-осетински тонкой талией, с широкими плечами, ладони еще помнили турник, железом пахли. Гремин же был из тех субтильных и сутулых, которые и в сорок лет глядят студентами, очков разве что не носил для полной ботаничности лица. Всегда-то был нескладен, а теперь его и вовсе портила болезненная худоба, и на груди под бледной кожей веерилась венами карта сибирских рек. Но, как известно, кто здесь оказался в двадцать, тому сорока уже не будет, нечего терять.

Вдобавок Гремин был неразговорчив, нелюдим и быстро уходил в себя, а возвращался неохотно, пятясь.

Но Женечка Ершов, под стать фамилии, был «мал, да колюч» и если вцеплялся, то намертво.

– Вставай, Гремучка! Завтракать идем, – провозгласил он, потрепав Гремина по плечу. – Успеть бы до двенадцати, пока ватрушки все не разобрали, как тогда. Люби платить!

«Люби платить» было излюбленной Ершовской присказкой. Он понимал, что сильно задолжал и, находясь здесь, платит по счетам, а все-то никак не расплатиться.

***

«Я не буду старым», – понял Гремин, когда впервые оказался здесь.

Тем, что поразило его первым в НИИ онкологии Петрова, стал каталожный ящичек в регистратуре с номером «1989» – годом его, Гремина, рождения. Таких ячеек за спиной у регистраторши насчитывалось добрые полсотни. И в череде годов, проставленных на них,

явилась Гремину неотвратимая преемственность смертей. Впоследствии он не один раз возвращался мыслью к ящичку под номером «1989», как если б поселился в нем бесплотным домовым. И понимал: все, что в итоге от него, Толика Гремина, останется, поместится в такой же маленькой ячейке крематория – размером с гробик для кота.

Думал: может, оно и к лучшему – остаться молодым, не знать артритных болей, Альцгеймера и Паркинсона, недержания мочи, взрослых детей, которые тебя насилу терпят, внуков, выросших при новом дивном мире, что станут на тебя глядеть, как на реликт? А вот, поди ж ты! Оказавшись отмененной, старость виделась ему чуть ли не краше юности – влекла, как всякая terra incognita.

В НИИ Гремина звали Толиком, ибо до Анатолия он не дотягивал. Худой и белобрысый (так что нынешняя приобретенная безбровость пришлась ему не в новинку), едва оказываясь на людях, он уж искал возможности исчезнуть и не оскорблять чужого эстетического чувства: сутулился и голову вжимал, отмалчивался, тушевался. Улыбка, едва тронув губы, меркла. Однако в онкоцентре Гремину не требовалось прятаться. Здесь, в отделении химиотерапии, его окружали разные, но одинаково обезображенные люди, чьи ноги-спички, страшно торчавшие из памперсов, с трудом держали вздутые бочкообразные тела.

Словно в буддийском храме под разреженным высокогорным небом, здесь обитали только лысые, лысеющие или стриженые в ноль. Банданы, ухарски повязанные, попадались в Центре чаще, чем на шоу байкеров, платки пестрели беспринципнее, чем на Курбан-байрам, а глянцевитость париков смотрелась чересчур живой над выцветшими лицами. Уборы скрашивали головы, но не скрывали сути. И пациенты, наряжавшие себя в остатки жизни, бродили долговязыми тенями. Всякий выгуливал на трубке-поводке железного питомца – стойку капельницы. Вынашивали смерть в себе, как плод, и животы пучились вызревавшими в них опухолями. Сам Гремин между обитателей НИИ ходил нонконформистом – носил бейсболку с надписью «FOX» козырьком назад, не расставался с ней. Даже и спать ложился, не снимая.

Каждый из обитателей пятого этажа НИИ онкологии Петрова по-своему, как с невесомостью, свыкался с неизвестностью. Женя Ершов держал руку на пульсе медицинских новостей, читал, что только мог найти на зарубежном и родном, о достижениях науки. Казалось: даже те гипотезы, что еще зрели в чьих-то светлых головах, Ершов знал наперед. Ужасный Нарик Мерзоян, сосед Толи по прошлому визиту в Центр, ел – без устали, порой даже сквозь рвотные позывы. Был убежден: еда – балласт, что держит человека на земле, долженствовало пополнять ее запасы неустанно, чтоб не воспарить до времени. Одни здесь верили в целительную силу керосина, другие – в березовый гриб и соду, кто-то колдовал, кто-то скандалил и менял врачей. Но одинаково для тех, кто еще чаял отыскать из здания НИИ лазейку в жизнь, все подоконники на лестничных площадках Центра были запорошены рекламными листовками типа «трех „П“», как говорили здесь: с рекламой париков-протезов-психотерапевтов.

Окна химиотерапевтического отделения распахивали взгляду вид по-над верхушками деревьев, от какого дух захватывало и казалось – толща неземных зеленых облаков стелется под корзиной стратостата. Там, снаружи, разворачивалась жизнь, не скованная строчками диагностического заключения – того, которое внутри для многих оборачивалось заключением пожизненным: решетчатые спинки панцирных кроватей, стольких приковавшие, чем не тюремные решетки?

Здесь даже родственники – вольные пришельцы, не многим походили на живых: и под улыбками на них обыкновенно не было лица. Гремину часто доводилось слышать, как заезжие, понизив голос, жалуются, будто даже после краткого визита в Центр чувствуют такую изможденность и подавленность, что хоть ложись да помирай. Мол, здание НИИ полно невидимых мертвящих эманаций. Должно быть, потому сюда и не пускали до четырнадцати лет – детей, которых еще жалко, кто еще не пожил, не погряз, кто был еще младенчески красив, невинен.

Однако же, в отличие от рядового обитателя НИИ, Гремин не рвался на свободу. Он жил в самом конце крыла, куда нечасто кто захаживал. И прямо у себя в палате на столе он, не боясь прослыть юродивым, клеил из папиросной бумаги макет онкоцентра. Гремин был без ума от здания НИИ, как жертва, полюбившая своего похитителя.

Величественный главный корпус высился меж прочими, тянулся вверх антенной ретранслятора. Здание, выстроенное в лучших традициях советского конструктивизма, очаровало Гремина массивностью, суровой красотой. Здесь в вестибюле под колоннами серого мрамора приятно пахло кофе и царил тот холодок, что на любой жаре скрывается в пунцовой глубине арбуза, спело треснувшего под ножом. Высокие зеркала, тяжелые деревянные двери, коробка больших электронных часов, когда-то замерших на цифрах «16:16» (под этим двойным часом полагалось, как на падающую звезду, загадывать желания, и Толя назагадывал их столько, что хватило бы всем обитателям НИИ).

Макет, склеенный Греминым, воссоздавал уже не только главный корпус с крыльями администрации и поликлиники, но даже парк, в каком тонули здание лаборатории, радиологический корпус, оперблок, хозблок, гараж, столовая, где рано утром продавали несравненные ватрушки. Ершов над Толиком смеялся: «Девочка Садако делала журавликов, чтобы спастись от хиросимской лейкемии, а ты решил собрать бумажный онкоцентр, чтобы излечиться?» И Толя, облучаемый в радиологии НИИ не хуже, чем Садако в Хиросиме, возражал ему: «Это не онкоцентр, а космическая станция». Гремину по душе была метафора приятеля о Звездном городке, откуда каждый отправлялся в космос, и циклограмма пуска для него вставала в один ряд с кардиограммой, спектрограммой, энцефалограммой и лейкоцитарной формулой. Впрочем, никто не улетал из химиотерапевтического, из-под самой крыши онкоцентра, к Богу – не создали еще подобной взлетной полосы. Отсюда уходили на своих ногах, чтобы однажды просто не вернуться на очередной курс терапии.

«Химиотерапия – чем не смертельная инъекция, разбавленная многократно физраствором? – спрашивал когда-то Юрий Бондаренко, товарищ Гремина времен одной из первых линий терапии. – Сжиженная, приручeнная, поставленная на службу жизни смерть». И выходило: как преступник возвращается на место преступления, так Гремин возвращался каждый месяц к месту химической казни. Но поднимался с радостью на свой пятиэтажный эшафот: так долго странствовал он по больницам, обивал пороги кабинетов и ходил с протянутой рукой, сжимавшей выписки, карточки, справки и снимки КТ, столького навидался, к столькому привык, от столького устал, что рад был тихой гавани химиотерапевтического. Земле обетованной с именем Химио-терра. Если на первом этаже НИИ, в приемном отделении, еще царила суета, жестокие законы очереди, толкотня локтей, и шла борьба за жизнь, за место под целительными лучевыми «солнцами» НИИ, то в отделение химиотерапевтическое на последнем этаже если и поднимались люди – уже чистенькими, отшелушенными – лишенными волос, бровей, страстей… и пять пролетов лестницы, ведущей вверх, чем были не лестница Иакова?

Жизнь в отделении была уже недалека от хосписной – спокойствие летней жары с вяло жужжащей мухой, впутавшейся в занавеску, причал паромной переправы через Лету, зал ожидания для отбывавших в вечность, где не происходит ничего остросюжетного, лишь ветерок по временам скрипит фрамугой форточки. Только животных разве что еще не допускали к пациентам в койки. И персонал пока чуть более был деятелен, чем участлив.

Хотя и далеко было от здешних стен до настоящих волн – хотя бы мелководного залива, – ветер в окна НИИ дул вольный, подымая занавески, чисто юбку на Мэрилин Монро. Гремин любил пофантазировать, прикрыв глаза, будто не шум листвы слышен за окнами, но шорох гальки. Воображал, что, выглянув в окно, увидит воду, затопившую весь белый свет до горизонта. Воду, что плещется под самым подоконником и до того прозрачна, полная солнечных бликов, что хорошо видны пошедшие ко дну нижние этажи и малахитовые столпы елей, медленно поводящие лапами вослед течениям. А где-то вдалеке, по грудь в воде, идут по насыпи

товарные вагоны и пустые пассажирские составы – вечно идут к затопленным вокзалам-пристаням и никогда не достигают цели.

Однажды, пацаном еще, Толя едва не утонул. В Кронштадте, подле дамбы. Был жаркий день, но осень уже задувала над заливом и топорщила волнами. Гремин решил доплыть от городского пляжа до заброшенного форта, что маячил неподвижным кораблем в миле от берега. Сперва он ходко греб, только не рассчитал, как холодна будет вода на глубине, что на фарватере волна пойдет повыше, позубастее. И скоро нахватался брызг, стал задыхаться, повернул назад – не тут-то было: встречный ветер выдувал из него силы, пеной поплевывал в лицо, и Гремин запаниковал. Барахтался в волнах без толка и уже не видел берега за ними, усилия хватало лишь на то, чтобы держаться на поверхности, не мог продвинуться вперед, как ни старался. Тогда он понял: все, приплыл. Обидно было умирать так глупо. Тогда Бог в первый раз явил ему себя – заново сотворил земную твердь у Толи под ногами. Гремин не знал, откуда было взяться мели на фарватере, но что Бог есть – узнал. Он с полчаса стоял на цыпочках, и высоты малого земляного холмика под ним едва хватало, чтоб вода не заливала рот, но все же отдышался, отдохнул и выбрался на сушу. Но с тех пор мнилось – часть его осталась там, в миле от берега, над глубиной, на грани. С тех пор его всегда тянуло посидеть на берегу, глядя на воду. Как если бы он не закончил дела или оборвал на полуслове важный разговор. Впрочем, теперь самое жизнь его была такой, как если бы стоял на цыпочках в волнах, лицо подставив небу, замерзший, обессилевший, и роста его чуть хватало, чтоб вода не заливала рот. Стоял один среди безжизненного океана, где некого позвать на помощь.

Порой Гремин спускался из химиотерапии вниз, в приемное, чтобы побыть среди людей. Сидел, присматривался и прислушивался. Знал: длина дороги к царству мертвых отовсюду равная, но череда больных в приемном виделась ему хвостом кладбищенской шеренги. Сидельцы в очереди перешучивались, обсуждая пустяки, вроде новейших и куда более комфортных, чем пошлая клизма, методов очищения прямой кишки перед ректоскопией, и Гремин слышал, как по жилам у них вместо крови циркулирует надежда. Толе, игравшемуся в Звездный городок, виделись в постояльцах онкоцентра космонавты, запертые на кругах орбиты, давно утратившие сообщение с Землей, зависшие над каменной планетой – такой же, в точности, как и Земля, только безжизненной. Условия были и впрямь космически бесчеловечные: на каждую химиодозу еще десять препаратов сверху – облегчить побочные эффекты, чем не медикаменты против перегрузок?

Были у обитателей НИИ Петрова маленькие радости. Первым сдать кровь из вены. Попасть без очереди на УЗИ. Успеть втайне от лечащего сбегать утром через двор в столовую за бесподобными ватрушками – восторг, доступный тем, кого еще не одолела тошнота.

На этот раз, правда, Ершову с Греминым не повезло: поднос из-под ватрушек пустовал, и завтракать пришлось тарелкой бледных и дебелых макарон, стаканом киселя из разносливов-псевдофруктов, слишком розовых, чтобы предполагать их натуральное происхождение. В столовой было солнечно и жарко. Рядом пенсионеры за салатом обсуждали преимущества «раньшего времени» над нынешним: начав с незрелых помидоров, скатились к политическому строю. И, слушая их монотонный ропот, Гремин вспоминал свое волжское детство, когда солили в бочках помидоры «бычье сердце» с детский мяч величиной, такого же размера яблоки, кочанчики капусты и зародыши арбузов. На тех из кавунов, что не пошли в соление, дед Толи, прямо на бахче, взялся царапать цифры, но полосатиков было без счета, как алмазов в каменных пещерах, и дед скоро забросил нумерацию. Арбузы выросли, и цифры растянулись в нечто иероглифическое – так начинает улыбаться сизый вождь, татуированный на оплывающей груди стареющего зека. С бахчи, собравши урожай, ехали на телеге, Толя восседал царем горы арбузной. Сзади бежала мелкотравчатая шелупонь: «Дай-дай арбуз!» И Гремин поднимал над головой кавун, швырял снарядом, целясь в центр взвода карапузов, те с визгом врассыпную брызгали от взрыва, окровавленные мякотью, шрапнелью семечек побитые. Арбузы

в доме размещались под кроватями, как партизаны – переждать фашиста, или круглые какие квартиранты. Утром просыпаешься, нащупаешь ногой один, выкатываешь – и на кухню. Там только поднесешь к крутому боку нож, едва коснешься – тот уж треснул, распахнулся всем алеющим нутром. Жара была такая, что весь день Гремин только арбузами и жил, даже в сортир не бегал – с кожи испарялось все.

«А нынче помидор – об стену бросишь, прилетит назад, – резина, а не помидор!» – подвел итог один из возмущавшихся сменой времен, и собеседники его согласно завздыхали.

У Гремина в НИИ была и собственная радость: его день был светел, если удавалось встретиться с завотделением Чуденским. Вместе с заведующим в химиотерапевтическое входило солнце. Не то палящее, что било в окна Греминской палаты или спускалось к Маяковскому на чай. Нет, Вячеслав Андреевич Чуденский весь был – жизнь и свет, и радость. Он обладал простой, очень располагающей наружностью, в ней было что-то легендарное и с букваря знакомое – улыбка первого космонавта, должно быть. Да, Вячеслав Андреевич похож был на Гагарина изрядно – молод, здоров, красив и лучезарен.

Имелась у Чуденского манера – принимая посетителя, который торопился выложить свою историю болезни, заведующий повторял: «Угу. Угу. Угу-угу», – словно телеграфировал кому-то. Казалось, наперед все знал, но все же слушал из учтивости, и его метрономное «угу» страх пациентов убаюкивало лучше падающих капель корвалола. Чуденский никогда не лгал о перспективах. Он назначал лечение, давал рекомендации и прямо говорил, если случалось так, что сделать уже ничего было нельзя. Но и тогда от него уходили со светлеющими лицами.

При первом поступлении в стационар Гремин и сам поговорил с Чуденским. Тогда он чувствовал себя еще вполне здоровым, так что осмелел и даже протянул заведующему руку на прощание, чтобы с тех пор задумываться иногда: как жаль, что невозможно навсегда сберечь в ладони теплый след рукопожатия. Теперь он на Чуденского все больше издали смотрел и провожал его фигуру взглядом – долгим, как больничный коридор. Он восхищался этим человеком и хотел бы снова с ним поговорить о чем-нибудь, но где было взять повод? И что он мог бы предложить цветущему Вячеславу Андреевичу, кроме собачьей преданности лейкемичного больного?

Зря думал так. Не знал, что вскорости судьба возьмется уравнять их шансы.

***

На этот раз, прибыв в НИИ Петрова на очередной курс терапии, Гремин был шокирован.

Стоял июль, нашла приливом тополиная волна, по крыши затопила город, смыла все былые запахи, все нежные цветения. Теперь тяжелая стоячая вода их темной зелени останется до осени чуть шелестеть у верхних этажей, пока не порыжеет, проржавев, тогда лишь схлынет, оставляя бурый, по колено, слой наносного лиственного ила.

Когда, измученный утренней толчеей в приемном, Гремин наконец вошел в кабину лифта и нажал на кнопку с цифрой пять, он ожидал, что встретит в химиотерапевтическом привычную размеренность и тишину. Он заблуждался несколько секунд, пока кабина скрежетала между этажами, тяжело одолевая восхождение. Все миражи развеялись единым махом ее распахнувшихся дверей, и перед Греминым явились разорение и хаос. Вскрылись бетонные полы, и штукатурка сыпалась со стен, койки, исторгнутые из палат, то тут, то там стояли в коридорах, то поставленные на попа, то будто бы расшвырянные взрывом. И ни души кругом.

Вскоре узнал, что всю последнюю неделю здание НИИ трясло, словно и впрямь стояло на песке. Низко ходили тучи над Песочным, задевали ретрансляторы на крыше онкоцентра. И, видно, истончили, иссекли дождями перекрытия, так что однажды утром рухнула часть потолочной плиты в кабинете Чуденского, грохнула об пол, раздавила в щепы стол заведующего, зашибла по касательной юного аспиранта Юрченко. Случись Чуденскому быть на рабо-

чем месте – и поминай, как звали. Но Вячеслав Андреевич тогда замешкался на проходной и появился позже.

С того дня персонал НИИ и пациенты отделения смотрели вслед заведующему. И любопытство их мешалось чуть ли не с благоговейным трепетом. Гремин подозревал: нашлись бы и такие, кто не отказался бы отрезать у Чуденского прядь волос на удачу.

Верхи затеяли ремонт, и в воздухе химиотерапевтического запахло не одним лишь спиртом и столовой, но – строительными смесями, водоэмульсионкой, пыльной взвесью. Хрустела под ногами штукатурка, по линолеуму пролегла ковровая дорожка тряпок и половиков. Стены выкрашивались в новый беж, неповоротливые двери сменил податливый пластик, на окна вместо штор опущены были забрала жалюзи, и Гремину казалось, что меняются не только интерьеры отделения, но и научная парадигма НИИ Петрова.

По извести и битой штукатурке Толя осторожно, чуть не крадучись, прошел в самый конец крыла, в последнюю свою палату, когда-то переоборудованную из процедурки, в дальний тупик, куда ремонтные работы не дошли еще. И всякий день с тех пор, покуда долго шел к себе сквозь отделение, он наблюдал, как движется пылевым облаком ремонт по химиотерапевтическому: словно ползет на берег пенная волна или туман. Оплот привычных интерьеров, не менявшихся с самого основания НИИ, день ото дня сужался вокруг Гремина, как ледяная лунка Серой шейки. И Толя чувствовал: когда совсем сомкнется, и ему несдобровать – выметут вон, как мусор.

Беда, однако же, одна не ходит, приглашения не ждет и с молодецкой удалью сама распахивает ворота»: пришли, мол, злыдни погостить три дня, а прожили-то весь век. И вскоре пациенты четырех палат, как спевшись, написали на Чуденского дюжину жалоб: и лихоимец, мол, и взяточник, халатен, оскорбляет честь-достоинство и даже, кровопийца, вымогает кровь у доноров. Запахло нехорошим разбирательством, четвертым словом с буквы «п» – «прокуратура». Но тут и вовсе клюнул жареный петух, точнее, красный – вспыхнул кабинет старшей сестры с архивами бумаг. Огонь остановили быстро, только добрая сотня историй обратилась в дым, унесший в небо все диагнозы и назначения стационарных и амбулаторных пациентов.

Чуденский спал с лица, сделался непохожим на себя: больных и посетителей выслушивал все так же терпеливо, трепетно, доброжелательно, однако отвечал частенько невпопад. А на обходах все больше молчал, рассеянно кивая. Смотрел, казалось, только вглубь себя, в глазах его темнели тучи, пуще прежнего сгущавшиеся над НИИ.

Гремин тогда болел душой и изнывал. Но что мог сделать для Чуденского один-единственный больной, изъеденный лейкозом? Одна мышка вообще не мышка. Даже когда бы Толя выздоровел чудом, его капля в чаше случаев спонтанных исцелений не встревожила бы океан смертей.

***

Когда вернулись из столовой, и Ершов отправился к себе, Гремин уснул, проспал обед, а пробудившись, снова взялся за строительство макета. Тут, как беда, вошла без стука Зинаида, наотмашь распахнувши дверь. Дел в это время для нее в палатах не было. Но медсестре, дежурно тосковавшей в процедурке, хотелось поболтать, открыла наугад палату – и попался Гремин, бестолковый собеседник. Сестра, впрочем, могла разговорить глухонемого, на безрыбье-то.

– Ну, что, Толюня, я уж, грешным делом, думала, на этот раз попрут тебя. Вика-то Владимировна, красавица наша, все хотела вытурить тебя, говорила: у нас химиотерапия, а не стабилизация, с таким низким гемоглобином не берем.

Лечащим врачом у Гремина была прекрасная Виктория Владимировна. Если Толя клеил свой макет из невесомой папиросной, то Вика сделана была из глянцевой мелованной бумаги.

Сияющая кожа, переливчатые тени век и ламинат волос, и блеск отполированных ногтей, лак туфель на неимоверных шпильках, наполнявших НИИ метрономным стук-постуком, и полироль авто, что привозило Вику на работу поутру. Мужчины с отделения, по большей части равнодушные уже к плотским страстям, все-таки провожали ее взглядами, полными горького «глаз видит, зуб неймет»: будь у них даже богатырское здоровье, этакая не взглянула б. А Гремин знал, что каждый вечер за Викторией Владимировной заезжает респектабельный мужчина и везет ее ужинать, укладывать в постель, уговаривать уйти с работы – к нему в жены, украшать его гостиные и дорогие ресторанные залы. Но любит Вика не его, любит Чуденского, поэтому и не уйдет из Центра, останется среди заблеванных палат, немытых туалетов. Пусть не Христова – Эскулапова невеста, постригшаяся в монастырь НИИ, где все сплошь в белых ризах. Чуденский же невлюбчив и невпечатлителен земным, витает в вышних сферах. И Вика смотрит на него, как в космос, и роняет перед ним листы историй из дрожащих рук, и с высоты своих шпилек опускается на корточки – ему под ноги.

– И ведь Викуся-то права была, – все подковыривала Зинаида. – А Вячеслав Андреич, вишь, с какого-то рожна велел тебя оставить, настоял. И что за муха его укусила вдруг, ума не приложу… Э! Гремин! Ты куда сорвался? Тапки-то надень!

Гремин давно подозревал, что, если бы не Вячеслав Андреевич, его давно бы попросили из НИИ. Вот и Ершов подтрунивал, звал приживалой, прихлебателем харчей казенных. Гремин прикидывал: Чуденский год назад вошел в рабочую группу онкологов по сопроводительной терапии, что и обеспечило, возможно, Гремину место в стенах химиотерапевтического. Но, разумеется, его фантазии были подобны притязаниям бактерии на то, что солнце движется по небосклону исключительно ради ее, инфузории, блага.

Теперь, спасаясь от сестры, он думал заглянуть к Чуденскому и поблагодарить. Поговорить. Только до кабинета не дошел. Минуя ординаторскую, он остановился отдышаться. И различил невольно голоса за дверью, замер.

– Жидко выступили, жидко, – слышался сквозь тонкий пластик незнакомый баритон.

– Куда уж круче, Бог ты мой, помилуйте! Все отделение в руинах, – робко возражал второй голос – пожухший, до жмыха жевавший слова, прежде чем сплюнуть их.

– А толку мне с ваших руин? Чуденского потреплют и оставят. Не попрут.

Жмых промолчал.

– Вы это видели? – вступил вновь Баритон. И хрустко хлопнул по столу бумагой – сложенной газетой? – Ваш Расчуденский смеет утверждать, что таргетные препараты малоэффективны: они, мол, продлевают жизнь, в среднем, только на двадцать – тридцать месяцев. Ему, видите ли, мало этого. Он намерен плодить иждивенцев. А чего стоил его доклад на последнем онкоконгрессе? Мол, в результате нашей метрономной терапии мышки жили дольше. Мышки! Не удивлюсь, если он даже этим мелким тварям сострадает.

– Что поделаешь, – вкрадчиво вставил Жмых. – Нравственный идеал врача…

– Вконец он заигрался, этот нравственный. Убрать пора.

– Не слишком ли сурова мера? – екнул Жмых.

– Вы остолоп – не физически же! Убрать, так сказать, с горизонта отечественной науки.

– Едва ли выгорит. Больно уж высоко взлетел. Сам Германович его выпестовал себе на смену и просто так не отдаст.

– Концы скоро отдаст ваш Германович. Сам трусит, как бы не поперли на заслуженный. Министерские объелись молодильных яблочек, сметают историческую пыль.

– Так, может, простенький скандал? Чтобы сослали лаборантом в институтишко какой-нибудь занюханный, откуда ввек не выбраться? – прикинул Жмых.

– Не выбраться? А то, что ваш Чуденский именно оттуда начинал? Что явил себя гением и стал сначала самым молодым кандидатом наук, а теперь и докторскую будет защищать, в его-

то годы? Отбросишь ты его, допустим, лет на десять – что изменится? Он молод, талантлив и решителен, такой, поди, опять пробьется.

Жмых молчал, а Баритон дух перевел и посуровел:

– Короче, если Чуденский продолжит лоббировать метрономную терапию, рано или поздно он добьется разрешения введения ее в первую линию лечения, добьется длительной стабилизации у большинства. А ты хоть представляешь, сколько денег вложено по всему миру в таргетные препараты, чтобы теперь брать и признавать их малоэффективность, я не говорю уже – опасность?!

– Но больно хлопотное дело… – все еще пытался строптивиться Жмых.

– Хлопотное дело – из-за слишком борзого мальчишки-кандидатишки прошляпить тендер. Проверять он, видите ли, новый препарат собрался. Что до него американцы сто раз проверяли – трын-трава. Хватит полумер, любезный, мне нужна тотальная травля Чуденского. И чтоб до выжженной земли. Если скандал, то громкий, лучше уголовный. Чтоб по всем газетам.

– Хм… Нужны пособники из персонала и свой человек из пациентов, какой-нибудь декабрист… из непримиримых.

– Пообещай кому-нибудь из ординаторов нагретое заведующее кресло. Пациенту – квоту от Минздрава.

– Боюсь я, устраните этого – придет другой, такой же молодой и восторженный, жаждущий общечеловеческого блага.

– То не твоя уже печаль.

Гремин едва успел отпрыгнуть в сторону, когда дверь отворилась, выпуская двух мужчин, видеть которых Толику еще не доводилось. Гремин успел заметить, что на вид они были такими же, как голоса их: один скукоженный, другой покрепче, плотный – складчатый затылок, бычья шея. Как только скрылись, Гремин воровато заглянул в покинутую ординаторскую и, в самом деле, обнаружил на столе газету, где прочел отчеркнутое Баритоновым ногтем: «На прошедшем в Краснодаре заседании Общества онкологов-химиотерапевтов Вячеслав Андреевич Чуденский, заведующий отделением химиотерапии НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, рассказал об осложнениях таргетной терапии, о профилактике и лечении наиболее частых и серьезных побочных эффектов. Важно понимать, отметил он, что некоторые из таковых являются опасными и даже потенциально летальными».

О таргетных средствах Гремин был наслышан. В свое время те стали сенсацией. После разработки первых препаратов этого класса многие говорили о долгожданном изобретении панацеи против рака, способной избирательно уничтожать опухоль, не причиняя вреда организму в целом. Таргетные препараты широко вошли в клиническую практику, сделавшись притчей во языцех. Но вскоре безопасность их использования стала вызывать сомнения. Все новые и новые побочные эффекты находились, данные о них, как правило, спускались с опозданием к врачам, что продолжали применять «бьющие точно в цель» лекарства в прежних схемах. Стало ясно, что для прояснения картины требуются годы испытаний, между тем фармацевтические корпорации не собирались столько ждать и уж тем более – сворачивать уже налаженное производство средств, в каждое из которых вложены были деньги огромные.

Мог ли подумать добрейший Вячеслав Андреевич, предупреждавший об опасностях таргетных средств на рядовом заседании онкологов, что подлинная мишень отныне будет на его спине? Гремин заметался. Требовалось что-то делать. Бросился к Чуденскому, но кабинет заведующего по вечернему времени стоял уже пуст и заперт. Влетел к старшей сестре:

– Мне нужен телефон Чуденского! – с порога выпалил.

Сестра слыла ровесницей самого Германовича, однако у старушки была жилистая хватка. Она служила Сциллой и Харибдой отделения: повелевала выписками-поступлениями, и ни одной душе не удалось проникнуть в химиотерапевтическое, минуя ее тесный кабинет, где гор-

ными утесами высились стопки карточек с историями: большей частью тонкие, на полуслове обрывавшиеся, те брали высоту числом.

– Ишь! Захотел чего… Дай человеку отдохнуть хоть вечером от тебя, малахольный!

Гремин молил и восклицал, только не по зубам была ему Харибдо-Сцилла. Тогда кинулся в лифт, решившись штурмовать, если придется, кабинет директора.

Директор НИИ имени Петрова, лысеющий мужчина с совершенно круглым лицом, защитивший в свое время на поприще Военно-медицинской академии диссертацию об особенностях мягких тканей вокруг огнестрельной раны, всегда был симпатичен Гремину своим боевым прошлым. Казалось, что вот-вот он, энергичный, предприимчивый, выхватит револьвер, доселе скрытый полой пиджака, и ринется атаковать опухолевое членистоногое.

Когда переступил порог директорского кабинета, Гремин запнулся о ковер и встал, уткнувшись взглядом в спину Жмыха. Тот обернулся, сел за секретарский стол и взглядом смерил Толика поверх очков: чего тебе, мол, парень? Гремин рванул прочь из приемной, чувствуя, как и сквозь дверь буравят ему спину маленькие злые глазки. Только когда нырнул в разинувшийся лифт, и старая кабина дернулась, взмывая, перевел дыхание. Вот оно как, выходит, думал он. Враг-то в верхах засел.

Солнце еще сквозило из палат, но коридоры стали сумрачны, пусты. И в окна, выходившие во двор, дышала будущая ночь, жгла звездами зеленое, листвою выстланное небо. Спешно шагая, Гремин морщился от звука собственных шагов, казавшегося оглушительным. Был лейкоцитом в темном русле кровотока, единственным живым. «Что делать, что же делать?» – думал он, покуда брел к палате по родной химиотерапии. И, погруженный, далеко не сразу обратил внимание на новую пугающую перемену.

Обыкновенно после шестичасового ужина, который Гремин нынче пропустил, носясь по этажам, в химиотерапии пробуждалась тихая, почти что человеческая жизнь: съезжались к пациентам родственники и друзья, больные выходили на прогулки в парк, стекались к телевизору – на новости, а то и на футбол. Теперь не видно было ни души. Ни голоса, ни звука. Химиотерапия вымерла. Гремин без стука заглянул в ближайшую палату – увидел мирно спящих. Храп ждал его и за тремя соседними дверьми. Он глянул на часы – половина восьмого, далеко до отбоя.

Что тут за тихий час? Что за мертвецкий сон?

Войдя к себе, Гремин сел на кровать и уронил голову на руки с исколотыми опрозрачневшими венами. Его тошнило, пот прошиб от беготни. Он лег и провалялся несколько часов, то в полусне, то в омертвляющем бессилии. Когда стемнело окончательно, поднялся и оделся, чтобы выйти из НИИ.

Гремин ходил ночами в парк, в самую глубину, кутаясь в свитер, становившийся просторней раз от раза и уже подобный плащ-палатке. Никто его не останавливал за нарушение больничной дисциплины: так трудно было в отделение попасть, что никого здесь не было нужды удерживать насильно. Двери стояли отворенными, охранники скоро привыкли к Гремину и чуть кивали над кроссвордом: проходи, валяй, мол. В вестибюле пахло сладким кофе из кофейных автоматов, большие электронные часы вновь показали свои неизменные без сорока четырех минут пять. На улице стояла темень надвигавшейся грозы, еще беззвучная, уже беременная громом, и Гремин видел в небе с севера, со стороны залива, отсветы далеких молний.

Такой безлунной темной ночью, что стирала даже память обо всем дневном, более верилось в апокалипсическое будущее человечества, чем в лучезарное. Гремин шагал к темному корпусу радиологии, лучистая энергия которого не освещала и не грела. Шел, ежась, пока не заканчивались проторенные дорожки. Дальше шагал сквозь лес, через высокую траву, покуда под подошвами не начинал похрустывать ледок. Когда заслышал в отдалении уханье филина, а в воздухе – запах печного дыма, и лес сменился огородиками, палисадами и деревян-

ными домами, где не горело под резьбой наличников ни огонька, был уже весь в росе, в репьях, продрог, первыми каплями дождя побитый. Когда же наконец добрался до знакомого двора, едва держался на ногах.

Она сидела на крыльце, ждала его. Гремин упал лицом ей на колени:

– Мама, я не знаю, как предупредить его, – воскликнул он, а может – всхлипнул.

Мать молчала, гладила его по голове.

А что до грома – тот грянул на следующее утро.

8

– «О, если б был я тихий, как гром, – ныл бы, дрожью объял бы земли одряхлевший скит. Я если всей его мощью выреву голос огромный, – кометы заломят горящие руки, бросаясь вниз с тоски», – вполголоса проговорил Восток. Стекло запотевало от дыхания. И пояснил: – Это из Маяковского. Когда-то был такой…

Подле него стояла Вега.

– Анатолий Александрович… – вновь начала она, на сей раз – шепотом. – Данборенко, он…

– Понятно. Ты иди, Вега, иди. И Шерову скажи: я скоро буду.

Она ушла, держась за стену. А капитан «Рассвета-М» Анатолий Александрович Регмин, он же Восток, вновь канул взглядом за стекло. «Я не буду старым», – думал он с той лихорадочной веселостью, что куражит не спавшего ночь человека. Теперь его ждал общий сбор, формальная прощальная речь и утилизация тела. Все действие займет от силы минут двадцать. Но прежде ему нужно отдышаться, отдохнуть, а лучше – опуститься на пол, не один час просидеть, раскачиваясь в такт своим бессонным мыслям, похоронным и без церемонии.

Прямо перед Востоком, за бортом, горело пятью звездами созвездие Микроскоп – прямоугольное, бесстрастное. Здесь, в верхних слоях атмосферы, куда спускалась станция «Рассвет-М», звезды видны были в прозрачной синеве – не требовалось дожидаться ночи, чтоб высматривать среди них падающие и загадывать желания. Только у экипажа станции, заброшенной четвертой космической скоростью слишком далеко от колыбели человечества, желания иссякли.

Год на Икстерре длился чертову дюжину дней. Именно столько требовалось экзопланете, когда-то ошибочно прозванной двойником Земли, чтобы обернуться вокруг своей прохладной карликовой звезды Gliese 581. Осень, зима, весна, лето – на каждый сезон по четыре дня с четвертью. И раз в тринадцать дней станция в автоматическом режиме спускалась на суборбитальную высоту для забора почвенных зондов, сутки дрейфовала там, а после возвращалась на стационарную орбиту. До аварии предполагалось, что по отбытии команды станцию выведут на ту высоту, что зовется орбитой захоронения. Только «Рассвет» решил иначе и опередил их, сделавшись для членов экипажа общей металлической могилой. Двое уже погибли от обширных кровоизлияний: сперва похоронили Земрояна, теперь и Данборенко, значит, отошел, отмучился. В живых остались трое – толком и не жившие: Востоку исполнялось тридцать, Юджин Севе'р Шеров был его ровесником, а что до Веги, то красивым возраст не к чему.

Прозвище «Восток» Регмин получил только благодаря тому, что его имя восходило к древнегреческому ἀνατολικός – «восточный». Однако сам предпочитал считать, что именем обязан кораблю, вознесшему первого человека в космос. «Рассвет-М» появился на свет в один год с Востоком, отчего Регмин был небезразличен к станции. Поэтому, когда его назначили руководить захоронением, и Регмин прибыл на «Рассвет», он кожей чувствовал, как ток бежит по ее микросхемам, как ночь шлифует звездной пылью ей обшивку, и кислород по его венам циркулировал, точно по станционным газопроводам. В первые дни на станции Восток ходил как пьяный, отчего «Рассвет-М» то кренило, то потряхивало, как от легких атмосферных турбулентностей. Члены экипажа чертыхались за глаза и звали Регмина восторженным идиотом. Не было для Востока ничего до станции и после ничего быть не могло.

Космос всегда лизал бока «Рассвету» жесткой радиацией, потоками тех высокоэнергетических частиц, что долетали до Икстерры отпрысками звезд-сверхновых и пульсаров. Четыре дня назад, однако, поле, охранявшее «Рассвет» от гамма-излучения внезапно оказалось неактивным. Попросту выключенным, словно чайник из розетки. И космос хлынул, как вода в пробоину. В ответ на треск дозиметров приборного отсека сработала сигнализация. Однако за то

время, пока закрывались аварийные свинцовые переборки, отрезая жилые и функциональные помещения от облученного корпуса, космос просветил всю станцию, пошла волна вторичной радиации, все металлическое, что было на станции, теперь фонило, озаряя членов экипажа тем незримым светом, что приводит за собой пламя агонии. Станцию скоро дедозировали аппараты-ликвидаторы, и переборки поднялись, снова открыв в иллюминаторах искристую лазурь Икстерры. Но для команды это не меняло ничего.

Для станции не предусматривался сигнал «SOS» – слишком уж далеко забросило солнечным ветром их кораблик от ближайшей жизни, слишком легко было закрыть глаза на то, что он пойдет ко дну. Последнее, что сделали: пересчитали обезболивающие и поделили поровну. Теперь счет шел на сутки, на часы. Все было оговорено, и каждый оказался предоставлен сам себе. Шеров просиживал в библиотеке дни и ночи, книги разбирал. Тех было множество, Север снимал их с полок, перекладывал, ставил опять и снова доставал, как если бы не мог сложить мозаику. Вега – Восток к ней не входил, но видел как-то через приоткрытую дверь, – расчесывала волосы уже вторые сутки. Сидя у зеркала, она снимала с головы целые пряди, как иные вынимают, расплетая косы, шелковые ленты. Гребень выпадал порой из рук ее, подбородок дрожал, и Вега, поджимая губы, чтобы скрыть это, казалась гордой героиней старого советского кино.

Сам Регмин взялся дописать до точки бортовой журнал. Огромный, освещенный солнцем глаз Икстерры на него смотрел в иллюминатор, не мигая, и Регмин долго не выдерживал этого взгляда, первым отворачивался, отходил. Он понимал: его отчет о происшествии на станции едва ли всколыхнет когда-нибудь людскую голубую колыбель. Однако знал и то, что над Икстеррой с их исчезновением не станет наблюдателя – планета снова погрузится в слепоту космического неживого, не способного судить о ней – ни с ненавистью, ни с восторгом. Икстерра канет на века в небытие. Или навеки. А Регмин никогда еще не видел ничего прекраснее этой безжизненной земли. Сам для себя он называл ее Землей с заглавной буквы. И прежде, чем умрет, хотел успеть сказать об этом – пусть и скупым канцеляритом бортовых отчетов.

Интерьер станции, некогда выполненный в лучших традициях советского конструктивизма, за три десятка лет изрядно пообтерся, но сохранил монументальность форм, внушавших трепет и благоговение перед научной мыслью. Уже давно «Рассвет-М» был подобен захиревшему советскому НИИ, что, исчерпав предметы изучения, век доживал без финансирования. Восток шел по рифленой стали коридоров модуля «Агат-ВУ» в базовый блок «Селектрон», где прежде вечерами собирался экипаж. Эхо металла щедро разносило звуки, и, подходя к кают-компании, Восток издалека услышал Шерова, который по обыкновению своему декламировал вслух из прочитанного:

– Раннехристианский «Физиолог» говорит, что «…в винограднике взбирается еж к гроздьям и сбрасывает ягоды наземь… Затем начинает он кататься, накалывая ягоды на свои шипы. И уносит их своим деткам… Мирянин, поступай так же, приступая к духовному и истинному винограду… Святой Василий учит: „Человече, подражай ежу! Даже если он – животное нечистое, то как заботливое и чадолюбивое – образец… Не пропусти гроздей винограда истинного, а именно слов Господа нашего Иисуса Христа и донеси их заботливо до чад своих, дабы они, воспитанные в духе здравом и добром, превозносили бы Отца нашего небесного“».

Шеров и сам был все равно, что еж. Колюч, язвителен. Пользуясь славой острослова и насмешника, он позволял себе дерзить открыто, фамильярничать со старшими по званию, по возрасту, по опыту. Теперь, однако, этот еж изрядно облысел душой. Теперь вся желчь его текла вовнутрь. Он пил и пил ее, как тот, кто взялся выпить море. Радиопротектор пока действовал: Шеров был еще в силах и язвить, и насмехаться, хотя в каждом смешке его уже слышны были хрипы Чейн-Стокса.

На появление Востока он не обратил внимания. Вега, сидевшая поодаль, глянула и отвела глаза.

– Давно ли ты, Север, стал богословом? – спросил Восток, входя.

– Будь скромным, Регмин, ибо ты сделан из грязи. Но будь великодушным, ибо ты сделан из звезд. Так ведь когда-то говорили сербы? Думаю, нынче всем нам впору сделаться великодушными, как никогда: не грязью станем – звездной пылью. А впрочем, все одно. Все прах и тлен, – бессвязно отвечал Север. – У нас у всех сейчас walking ghost phase, товарищи, «фаза живого мертвеца», период мнимого благополучия при острой лучевой. Но скоро, помяните мое слово, кровь захлещет горлом.

Шеров, похоже, торопился выговорить все, что прежде мог бы растянуть на годы, покуда кровь еще не потекла заместо слов. А та уже сочилась у него из десен, носом шла. Север по временам прикладывал ко рту платок, словно чахоточный, и кашлял, кашлял новыми словами:

– Большой взрыв для материи – чем не изгнание из рая, а? Небесные тела все удаляются, преумножая одиночество. Ты не находишь, Анатоль? Что говорить о людях – глиняных телах. Эти чем дальше от Земли, тем дальше друг от друга, тем разреженнее человечность в них. Как ни крути, космос бесчеловечен – и буквально, и аллегорически.

– А в комнате для медитаций птицы умерли, – сказала Вега, ни к кому не обращаясь.

– Это не птицы, Вега. – Шеров повернулся к ней. – Это динамики перегорели. У нас полстанции перегорело, если ты не в курсе.

– Север, ты зря так, – тронул его Регмин за рукав. – Она переживает из-за Абаддаха, ты же знаешь.

У Веги до аварии жил еж по кличке Абаддах и всюду был при ней, спал в рукаве. Когда исчезло поле, он погиб мгновенно: сердчишко крошечное встало.

– Лучше бы из-за нас переживала, – хмурился Север.

– А нас не жалко: мы не звери и не дети, сами выбирали.

– Вот Абаддаху повезло, – не унимался Шеров, но уже вполголоса, – смерть под лучом – прекрасная, благая. Как под фаворским светом. Давление упало, сердце встало, и адью. И даже вскрытие покажет целостность всех органов. А мы с тобой, Восток, станем кровавым месивом, как если б Бог нас изнутри переживал и выплюнул.

Регмин пока не чувствовал в себе иных симптомов лучевой болезни, кроме слабости. Вначале-то рвало. А нынче в самом деле наступило мнимое северово благополучие. Он отошел к иллюминатору, где в небе над Икстеррой каменели ее спутники – Фолфокс, Фолфири, Де-Грамон. Глядя на них, Восток воображал дворцы, воздвигнутые на поверхности планеты, но однажды оторвавшиеся от фундаментов и воспарившие, рассыпав подле себя мелко-астероидные пояса. Рисунок кратеров казался ему рукотворным, как фрагменты фресок и мозаик, капителей, барельефов. И Регмин думал: покружат немного, а затем рассыплются, обрушатся метеоритным пламенеющим дождем назад на землю…

«На Землю…» – вновь поймал себя Восток на том, что в мыслях еретично подменяет букву строчную на прописную.

– А что вы думаете насчет Бога, Анатолий Александрович? – карикатурно выкая, спросил Север.

Восток пожал плечами. Хотел не отвечать, но все-таки проговорил, подумав:

– Генетический код человека записан четырехбуквием нуклеотидов, чем не тетраграмматон? Можно сказать, что каждый сам себе Адам Кадмон – и первочеловек, и космос.

– Да твой космический Адам изрядно кровожаден. Людей жрет сотнями своей зубасто-звездной пастью. И что с того, что, прежде негостеприимный, космос нас подпустил теперь чуть ближе? Так и змея, взглядом гипнотизируя, приманивает жабу. Нас отдали, Восток, твоему первочеловеку на съедение. Приманка, вот она – яблочко эдемское, – кивнул Шеров в иллюминатор, где румянился под карликовым солнцем бок Икстерры, – мечта о новорайской жизни. Малая звездочка, болотный огонек, завлекший путника в трясину. Разбойничий маяк, призвавший корабль на скалы.

Когда землеподобную Икстерру только обнаружили, предположили, что ее размеры в полтора земного радиуса и расстояние до затухающего солнца Gliese 581 позволят воде на поверхности планеты оставаться жидкой. Гадали: то ли она камениста, как Земля, то ли покрыта океанами. Отправили разведку, запустили станцию, и оказалось – синий океан Икстерры тут и там перемежает золото песчаных отмелей – подлинно райский вид. Имя планете дали первые насельцы станции, поскольку невозможно было выполнять возвышенную миссию, вращаясь над небесным телом с кодом «ЖПА3465783». Хотели в честь Асклепия назвать, в логике Солнечной системы, но не прижилось. Даже тянули жребий. Имя «Икстерра» тоже никому не нравилось, но были варианты и похуже. «Рассвет-М» тридцать лет спускал к планете зонды, размещал над нею спутники. Однако на Икстерре не было органики – только вода и минералы. Ни грамма углерода – кремний. И кислорода в атмосфере – двадцать процентов от человеческой нормы. Гигантский шар не стал утробой новой жизни. И говорили: если кто родится здесь когда-нибудь – глиняный голем. Покрытая водой и золотом пустых песчаных отмелей, она была прекрасна и безжизненна, как Галатея.

– В Древней Греции, – продолжал Шеров, – суеверные люди, увидев лежащий на перекрестке двух дорог гладкий камень, поливали его маслом из фляжки, а потом, прежде чем продолжать путь, становились на колени и молились перед ним. Точно так же Лукиан упоминает какого-то римлянина Рутиллина, что при виде смазанного маслом или покрытого венком камня становился перед ним на колени и, воздав почести безгласому божеству, еще долгое время стоял возле камня, творя молитву. Вот так и мы здесь, Регмин, молимся на гладкий камень, и предшественники наши тридцать лет молились. Но, видно, божеству безгласому наши камлания осточертели.

В запале Шеров говорил и говорил, только все больше беспорядочно, расхаживая по кают-компании, как метроном, то повышая голос, то смолкая, будто в нем боролись крик и шепот:

– Думали, рай на небе, прилетели к звездам, но и там – пусто. Икстерра ваша – высохший Эдем, лысина умершего Бога. Будь она проклята…

«Что ж, – рассуждал Восток, не слушая его, падая взглядом сквозь стекло иллюминатора к поверхности Икстерры, – если нет Бога в небе, то искать придется на земле». И снова в мыслях подменял строчную букву прописной.

7

Под утро Гремин вскинулся в постели, его разбудили крики медсестер, грохот каталок, бьющихся о косяки. Он торопливо встал, но, выглянув за дверь, уперся взглядом санитару в грудь.

– Чего не спишь? – рявкнул детина. – В койку марш! – И танком двинулся на Гремина.

Тот, ошарашенный самоуправством, отошел в темень палаты. Заснуть уже не мог и принялся, ворочаясь на влажных простынях, прислушиваться к звукам по ту сторону двери. Скоро все стихло. Изведясь от неизвестности, Гремин опять поднялся, вышел в коридор – тот пустовал.

У нескольких палат двери были отворены, и Толя заглянул в одну: там вместо четырех больных – ни одного. Кровати голы, тумбочки пусты, распахнуты, журнал лежит распотрошен. Стоят, осиротевши, стойки капельниц, пакеты из-под препаратов сдуты, трубки катетеров висят безвольно.

Рассвет Гремин встретил осунувшимся, с синяками, словно ночью его бил Морфей за несговорчивость. Считал минуты до обхода, чтобы, улучив момент, поговорить с Чуденским. Но ждал напрасно. Обход прошелся по палатам с опозданием, немногословно, быстро, без заведующего, как если бы команда корабля, зная о бреши ниже ватерлинии, еще учтиво улыбалась пассажирам верхней палубы, меж тем как по другому борту опускались шлюпки на воду, в которые заведомо не поместиться всем.

К обеду Гремин знал о происшедшем все.

Ночью восемь пациентов, получавших экспериментальный курс метрономной терапии иринотеканом, оказались в реанимации из-за развившихся внезапно токсических осложнений. Заведующий за полночь был вызван на ковер к директору, также прибывшему в НИИ. Известие о происшедшем просочилось в утренние СМИ. По факту причинения вреда здоровью было начато расследование. Как говорили очевидцы, Вячеслав Андреевич был бледен, но собран, не снисходил до оправданий, отвечал на все вопросы коротко, по существу. Ему не привыкать было отстаивать свою позицию на кафедре меж оппонентов. Однако ни высокое заступничество, ни ораторство на сей раз не спасли б его, когда б не информированное согласие всех восьмерых о рисках, вплоть до вероятности летального исхода.

Гремин хватался за голову. То был крах. Провал эксперимента, запрет на дальнейшие клинические испытания, а может быть, и заморозка метода как потенциально опасного. Но главное, то была катастрофа для Чуденского – прекращение работы над диссертацией, крушение карьеры. Что было делать? Вновь бежать к директору? Только еще вопрос, на чьей тот стороне. И кто поверит доходяге-пациенту?

В дверном проеме греминской палаты, по случаю жары стоявшем нараспашку, прошаркал девяностолетний Германович, человек-реликвия, знавший когда-то самого Петрова. Германовича здесь называли «доктором последней надежды» – а дальше нее, как известно, лишь «последнее смирение», достигнув какового, умирают в течение суток. К старику-профессору Толю всегда тянуло любопытство, как если б тот хранил секрет бессмертия. Но Гремин и побаивался, никогда прежде не подходил, не заговаривал. Теперь же, не раздумывая, бросился вслед за профессором.

– Иммануил Лазаревич! Против Чуденского заговор. Я знаю…

Германович лишь поморщился и замахал суставчатой рукой:

– Оставьте, юноша, не до того. – И далее побрел, низко свесивши голову.

Тогда Гремин решил нейтрализовывать страх действием, как щелочь кислотой. Стал рассуждать логически. Как отравили пациентов? Бог весть… Капали всем восьмерым иринотекан через инфузоматы – пластиковые помпы для дозированного введения. Эдакие маленькие

бомбочки замедленного действия с персонально подобранным ядом. У Гремина, чья терапия в основном была таблеточной, тоже имелся свой инфузомат, хоть и пустой: его оставил Бондаренко, отбывая из НИИ с устойчивой ремиссией, сказал – на счастье. Гремин всегда возил помпу с собой. Теперь достал ее из тумбочки, повесил на шнурке на шею и, расположившись в рекреации, принялся размышлять, рассматривать.

Вот она – смерть Кащеева в яйце, соображал, вертя инфузомат в руках.

В мире медицины, где обыватель усмотрел бы лирику разве что в диагнозе «эритропоэтическая протопорфирия», Гремин старался видеть красоту, где только мог, включал воображение, иначе бы сошел с ума. И виделся ему тогда Иринотекан майянским кровожадным богом, словосочетание «dose-dense» казалось модным стилем танца, звучали музыкой названия различных линий терапии: «FOLFOX», «FOLFIRI», «De Gramont».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.